# 1

Мое имя Александр Цитронов. Мне сорок лет, я автор девяти пьес (две из них идут в театрах), трех романов, ни один из которых не был опубликован, отец двух девочек восьми и двенадцати лет и, кажется, убийца мужа своей любовницы. Впрочем, следствию точно это пока неизвестно.

Час назад я умер от сердечного приступа, мое тело лежит в прихожей, длинное, широко раскинувшееся и уже почти остывшее. Лицо у меня спокойное, только немного искривлено влево, на правой щеке сине-бурая ссадина, так как, падая, я ударился о тумбочку из полированного дуба. Тумбочка и я отражаемся в высоком настенном зеркале неправильной формы скошенной трапеции. Это подарок любовницы, о которой моя жена Мария ничего не знает. Обе дочки сейчас в летнем лагере отдыха в Черногории, жена придет с работы через сорок пять минут и увидит мой труп в прихожей. Тогда все и закончится.

Но пока у меня еще есть время посвятить вас в некоторые детали этой отвратительной и, в общем-то, пошлой истории.

Нинель Алипьева — моя любовница, артистка драмтеатра, добрая, умная и, в принципе, хорошая и не очень счастливая женщина. Калина, ее единственная дочка, погибла два года назад, разбившись насмерть на байке во время сумасшедшего путешествия с друзьями по Европе.

Катастрофа та была чудовищной. Они гнали в темноте по горной трассе между Мадридом и Альбасете на юго-востоке Испании. Дикая скорость и душная ночь, думаю, сорвали мозги семнадцатилетней девчонке, и она утратила связь с реальностью. Белый трейлер вылетел ей навстречу как дракон из сказки. И в секунду сожрал то, что было байком и сидевшей на нем Калиной. От байка и девушки остались словно выплюнутые драконом куски металла, резины, стекла, костей и мелко крошенного мяса.

Один из байкеров, допрошенный полицией, говорил, что скорость и удар были такой силы, что звук не успел за тем, что случилось. То есть все сверкало, кувыркалось, размазывалось по гранитному фартуку поднимавшейся слева от трассы скалы, а грохот, лопающиеся взрывы и свист летящих в пропасть камней обрушились на полсекунды позже, сверху, из черного кастильского неба.

Хоронили девушку в Москве, на Николо-Архангельском кладбище. Маленькую темно-золотую урночку поместили в стену колумбария, быстро замазали цементом

и повесили на подсыхающее окошко бумажные цветочки и какую-то иконку. Нинель с мужем, театральным режиссером Рудольфом Горским, стояли среди небольшой группки родственников и все время кому-нибудь кивали. Потом прощавшиеся с прахом Калины засуетились, засморкались, быстро построились в колонну и ушли.

Я наблюдал за всем этим метров с пятидесяти, делая вид, что грущу у другого конца колумбария по иному, личному поводу. Именно тогда я подумал, что моя связь с Нинель все больше приобретает малопонятный, едва ощутимый и почти что бесполый характер. Послушное расписанию встреч влечение, тусклая страсть, одни и те же прикосновения и недомолвки старили нас все быстрее и быстрее. Мы — я и она — хотели чего-то другого. Но должны были получить недогруз любви, трусливый самообман, который рано или поздно приведет к нравственному уродству.

Домой я вернулся разбитым. Вся эта похоронная история открыла мне глаза. Само собой, я любил Нинель, но эта любовь, словно оборотень, стала раскачивать во мне ужас и ненависть.

Ровно через неделю, то есть за месяц до своей смерти, я получил от нее пространное письмо на двенадцати страницах.

«Любезный друг, милый и драгоценный мой Сашенька!

Не обессудь, но раз в жизни я буду старомодна и банальна.

Очень непривычно, наверное, в наше время писать при свете настольной лампы или получать увесистые многостраничные эпистолы в конверте. Электронная эпоха приковала нас к электронным галерам. Но они годятся, по-моему, лишь для мелководного плавания. Хрусткие бумажные листы, украшенные сотнями слов, вписанными в них прилежной рукой, подобны многомачтовому фрегату со сложной оснасткой и тысячами деталей, сооруженному для долгого морского плавания. Один пишет, другой читает, и в эти роковые минуты оба устремляют глаза в бесконечный горизонт. Счастье, если тот и другой долго не теряют интерес: что там за горизонтом? Так и случилось у нас с тобой. Больше четырех лет мы оставались восхищенными морскими путешественниками, влюбленными в эту полоску, отделяющую водную поверхность от неба.

Или твоя девочка-женщина неправа, удивительный мой?

Впрочем, все это не столь важно, потому что каждому из нас суждено поразному любить свои пути к горизонту.

К тому же, будь мы с тобой мужем и женой, вряд ли бы мы вообще интересовались жизнью как бесконечным морским круизом.

Будь милосерден и не ищи в моих словах обиды. Мне достаточно того, что ты полная противоположность моему мужу. И дело не в том, что ты гораздо младше него и на какую-то капельку моложе, чем я. Ты видишь горизонт, а мой верный муж — упрямо скользит взглядом по краю глухой ямы.

Это — не просто разница в устройстве зрительного нерва, а смысловой разрыв, содержательный диссонанс между оперой и опереттой.

Прости, если умничаю. Но не век же мне слыть гусеницей, а не бабочкой. В сорок четыре года женщина имеет право быть мудрой и умной.

Конечно, чтобы не волноваться понапрасну, Рудольф считает меня тупенькой. Сразу после свадьбы он забыл о моем существовании, относился ко мне как к домашней кошке невысокой породы, но, как ни странно, был исполнителен в постели. Ему нужен был шаблон, который можно без великого труда оживить и предъявлять всем в качестве примера своей состоятельности. Рудольф — несчастная жертва высокопарной самоуверенности. Знаю, тут ты улыбнешься, справедливо отметив сооруженное мной нелепое словосочетание «несчастная жертва»! И пожмешь плечами: разве жертва может быть счастливой?

Конечно, может, если не понимает, что является жертвой.

Мне захотелось поговорить с тобой о любви, и я принялась за это письмо. После смерти дочери Калиночки мое существование раскололось на несколько частей, которые я теперь не в силах совместить. Нет-нет, голова моя в порядке. Однако душа не светится ровно, а вспыхивает и гаснет, точно береговой маяк, выхватывая из мрака зазубренные рассыпавшиеся осколки. Это мигание непохоже на жизнь. Но я мирюсь с ним, потому что, когда зажигается свет, вижу рядом с собой твою фигуру. И это придает мне силы.

Теперь о самом главном, ради чего я взялась, так сказать, за перо и самовольно отвлекаю тебя от дел.

Больше четырех лет назад ты принес Рудольфу свою комедию «Плутовка». Наш театр загудел как растревоженный улей. Актеры не ожидали, что главный режиссер, всегда осторожный и уверенный в своей гениальности и неуязвимости, решится на такой шаг: взять к постановке очень странную и очень опасную пьесу. Подвох был шит белыми нитками. Во-первых, современные авторы давно уже не пишут пьес, которые открыто называют комедиями. Нынешний театр — цех по производству чего угодно, только не комедий. Во-вторых, финал «Плутовки» был наперекор жанру трагический. Героиня повесилась — и это было страшно. Мне дали главную роль. На читке тебя не было, ты появился в театре только во время прогонов, и именно это обстоятельство подействовало на меня как молчание партнера во время первых свиданий. Непонятно почему, я возненавидела тебя и при этом тайком ждала твоего появления в темном зрительном зале. Ты сидел в первом ряду амфитеатра, справа, молча и неподвижно. А мне казалось, что я стою нагишом на сцене и сгораю от стыда как семнадцатилетняя девочка. Какой же был ужас, когда я поняла, что мне это нравится! Я не эксгибиционистка, право, но твоя почти невидимая и молчаливая фигура в зале превратила меня в то, кем я никогда не была прежде. Я молча ходила по театру и ждала встречи с тобой, замирая от тоски и ужаса, подобно самке, которая чувствует, что в лесной чаще из-за деревьев за нею наблюдает опьяневший от страсти самец.

В общем, тогда в моей жизни и начало́ происходить бог знает что и черт знает что одновременно!

Я дрянь, которую ты мог бы привести к раскаянию и спасти от превращения в крючконосую патлатую ведьму. Я ношу крестик на груди. Но внутри, под кожей, под ребрами, под грудной клеткой, у меня живет пылающий ад, тлетворный огонь, от которого я не в силах укрыться…»

Ниже на бумаге сухими крошечными пузырьками вспухли следы от ее слез. Странно, но мне стало хорошо, я отложил письмо и вышел на лоджию покурить. Держать во рту сигарету для удовольствия совсем другое, чем в минуты тревоги. Это как слезы, тоже разные: в печали одни, в радости другие. Возможно, Нинель плакала над письмом, улыбаясь. Была счастлива, вот и роняла капельки счастья даром, на радость себе и мне.

Через десять минут я продолжил чтение письма.

«…И, скорее всего, не хочу укрываться. Здесь игра в прятки будет похожа на самоубийство. Даже если у меня за спиной со слабоумными карамельными ухмылочками начнут пачкать имя актрисы Нинель Алипьевой и наушничать о ее безнравственности (знаешь, с каким иезуитским ханжеством это делается в театрах), я предпочту скорее быть мишенью для подобного ложного унижения, чем тенью непорочной девственницы. Ведь моя страсть чиста, но не ничтожна. Она рождена любовью, а не бабской жадностью.

Ну вот, дорогой мой Сашенька, я немножко рассказала тебе о том, почему наша встреча должна была состояться, случиться однажды — не ради меня или тебя, не ради обманчивого настоящего или еще более неправдоподобного будущего — да,

милый мой, не ради чего бы то ни было по гамбургскому счету вообще, что бы такого сумасбродного или нахально-грубого о подобной дурашливой, волшебной мечте каждый из нас тайком от другого ни думал. Но только для сведения счетов со своим слепоглухонемым прошлым, понимаешь? Лишь для этого, и все!..

Когда моя Калина погибла (зачеркнуто).

Когда я осталась совсем одна, ты стал для меня последним зеркалом, ледяным и жестоким, в которое вмерзло мое неподвижное отражение. Как же ты меня наказал, непутевую замухрышку. Господи боже мой, я не поняла этого сразу! Я стояла голая перед стеклянным призраком и видела не свое жаркое и содрогающееся от вожделения холеное тело, а кривобокое чудище в рваных обносках.

*Недотрога, тихоня в быту,*
*Ты сейчас вся огонь, вся горенье.*
*Дай запру я твою красоту*
*В темном тереме стихотворенья.*

Борис Леонидович Пастернак отзеркаливает луч всякой страсти.

*Посмотри, как преображена*
*Огневой кожурой абажура*
*Конура, край стены, край окна,*
*Наши тени и наши фигуры.*

Воображение-преображение сорокалетней сбесившейся артисточки расправилось с нею так же жестоко, как потом с ее дочкой. Стихи любые, самые искренние, всегда иллюзия. Но всякая иллюзия в итоге превращается в кладбище бесполезных фантазий. А между кладбищем и иллюзиями снует ловкая труповозка.

Мне не хотелось ничего об этом знать, Сашенька. Мне неловко сознаваться в самообмане, поверь, но чувствую, он стал причиной появления неловкости между нами. Наверное, поэтому я должна просить у тебя прощения за свою наивность.

Или все-таки нет?

Сегодня я уверена в одном: с первых же мгновений нашей близости ты уступал мне и моим ласкам из-за великой скуки, которая характерна всем талантливым мужчинам, живущим не в этом обычном мире, а в своей туманной вселенной. Будь ты моим завоевателем, все оказалось бы проще. Во всяком случае, мы избежали бы тяжелого хмеля неудовлетворенности, подарив друг другу короткое наслаждение и забыв друг о друге. И не возник бы в бесконечном пространстве обманчивый горизонт, доплыть до которого на самом деле невозможно. Но возникло-таки громоподобное «навсегда» вместо тихого «никогда». Горизонт стал мечтой, хотя на самом деле он только лишь лезвие бритвы, изготовившейся рано или поздно перерезать нам вены.

После скандальной премьеры «Плутовки» ты исчез. Больше месяца телевизионщики кружили вокруг театра, как голодные коты вокруг банки со сметаной. Интернет сходил с ума, среди известных блогеров и на форумах вспыхнула дискуссия о нравственности женщины-самоубийцы, скоро перешедшая в ругань.

Благожелатели из нашего театра, давно скучавшие без карканья и поношения кого-нибудь, желательно из соседней гримерки, подкидывали на мой гримировочный столик перепечатки из этой помоечной ворвани. Мой Рудольф ходил по театру гоголем. Он сам по себе очень высокий и значительный, но тут с ним сделалась комическая штука: казалось, он увеличился в росте, у него зажердились ноги, заколесилась грудь, тело как бы удлинилось, только одновременно с этим

съежилась, как испорченная слива, голова. Черты лица, глаза, уши, волосы стали словно украденными у кого-то другого, мелкотравчатого и пупсообразного. По утрам, когда муж приводил себя в порядок у зеркала, собираясь по делам в театр или куда-нибудь в важные официальные конторы, меня бил одновременно смех и душили ужасные горловые спазмы. Однажды он резко обернулся и увидел мое тлеющее улыбкой лицо. Рудольф подошел ко мне и холодно сказал:

— Вот это ты зря, Ли́пушка (злясь, он непременно называл меня этим избяным именем). Ты окунулась в славу. Я получил лишнюю головную боль. Но это наше семейно-профессиональное guilty pleasure*. Расплата за успех. Теперь вся московская театральная тусовка не любит нас обоих. Так что мы обречены отныне сдувать пылинки, а не корчить за спиной друг у друга мартышечьи гримаски. Короче, не хлопочи лицом. А я не буду скрипеть зубами в твой адрес. Любовь и мир, договорились? Как прежде, да? Можешь подурковать, если кровь этого требует. Но «Плутовку» не порть. Убью, Липушка!

Я понимала, что безобидная игра на сцене то и дело грозит перейти в опасную игру в жизни. И дело между мужчиной и женщиной действительно может кончиться не просто скандалом, а настоянной на дурной зависти мстительной ненавистью. Невозможно одинаково любить театр и жизнь, как нельзя одновременно двигаться в противоположные стороны. Попытка свести вместе несоединимое грозит если не сумасшествием, то презрением ко всему, скрытому под маской благородного отречения.

Твоя пьеса обнаружила, что моя семейная жизнь несчастлива и костер беды будет только разгораться.

Следующий сезон в театре начался ни шатко, ни валко. Страсти вокруг «Плутовки» улеглись. Рудольф взялся за постановку двухактной современной белиберды, навязанной спонсорами.

Калинка тогда перешла в девятый класс и увлеклась байкером из клуба «Hell's road»**. Почему эти самовлюбленные недоросли придумывают для своих тусовок такие мрачные названия? Муж не интересовался дочерью, а я решила, что это у нее не всерьез, потому что самым серьезным считала личные переживания и загадку, которую задал мне ты, Сашенька.

Хотел ты этого или нет — понятия не имею, но твой мираж заслонил от меня все остальное. Чем больше я сознавала, что так быть не должно, тем яростнее стремилась к этой пропасти. Я виновата в этом, стыжусь, но и с тебя вины, пусть тобой и неосознанной, не снимаю. Пишешь — пиши. Но, если пишешь гениально — рано или поздно обожжешься болью тех, кто тебя читает и тебе верит.

Но мне так хотелось разделить этот ожог с тобой (зачеркнуто).

Вечер того осеннего дня, пятницы двадцать девятого сентября, и нашу неожиданную встречу я запомнила до секунды. Можно сказать, что он не стоил мне ничего и стоил всего. Я уже собиралась бежать домой после дневной репетиции, когда ко мне на цыпочках подошла костюмер Зина и шепнула, что меня ждут в буфете. «Кто?» — «Увидите». В ее пылком шепоте и распахнутых догола глазах я почувствовала не что иное, как физическую зависть хищницы. Еле сдерживая сердечную дрожь, я понеслась к буфету. Заставила себя постоять у двери, отдышаться, но так и не смогла погасить румянец на щеках. И руки у меня в этот миг залил лед, от локтей до кистей, а дальше все горело, особенно ладони и пальцы.

В буфете было пусто, как будто все ушли оттуда по срочному приказу. А за столиком у дальнего окна сидел ты и курил. На столешнице лежал букет голландской гвоздики в целлофане. Увидев меня, ты встал и нечаянно смахнул цветы на

---

* *Запретное удовольствие (англ.).*

** *Холмистая дорога (англ.).*

пол. По странной траектории, словно ослепнув и не совсем соразмеряя расстояние, петляя и качая бедрами, я пошла в твою сторону. Ты подал мне руку. Я наступила на валявшийся у ножки стола букет, потом нагнулась, подняла его и, не говоря ни слова, опустилась на стул. Ты сказал: «Спасибо, что пришли», — и продолжал стоять, рассматривая меня, словно непрошеную гостью. Я мяла в руках целлофановую обертку и, кажется, что-то бормотала, едва шевеля языком и губами. Подошла буфетчица и объявила:

— Здесь курить нельзя!

— Мне можно. Принесите нам два кофе со сливками, пожалуйста, и не мешайте.

Буфетчица ушла вмиг, по-солдатски. Сев, ты отобрал у меня цветы, бросил их на подоконник — и вдруг улыбнулся. В эту секунду все и решилось. Я куда-то полетела, успев запомнить порфировый вечерний свет на твоем лице, вкусный дым сигареты и странную, подавляющую меня, счастливо-несчастливую улыбку.

— У вас печальное имя — Нинель. Последняя капля воды на земле.

Я пожала плечами. Словно увернулась от комплимента. Но больше всего мне хотелось, чтобы ты продолжал говорить со мной так до бесконечности, а я бы сидела и слушала, слушала твой голос.

Мы ушли из театра вместе, когда он стал наполняться актерами и службами перед вечерним спектаклем. Обращались друг к другу на ты, легко поняв и приняв взаимное притяжение. Думаю, мы очень хорошо понимали, что природа этого влечения-завоевания у нас разная, но не говорили об этом ни слова, ни намека, ни коротенького взгляда, ни касания, ни секундных нежностей под видом благовоспитанности («держитесь за мою руку, тут ямка», «поправлю вам воротник, кажется, ветер поднимается», «скажу, только на ушко», «ладонь у вас горячая, как у проснувшегося ребенка»).

В Ботанический сад мы приехали засветло, но темнело очень быстро, сентябрьский вечер гас на глазах, асфальтовые дорожки становились все светлее и светлее, точно подсвеченные изнутри, а парк вокруг клубился плотным серо-бархатным дымом, черно-ржавым, густеющим с каждой минутой, пахнувшим одновременно, как ни странно, сухим, многолетним деревом, мокрой землей и драгоценными винными парами, травой и листвой.

Мы не торопились, но подсвеченный опаловый асфальт быстро остался в стороне (зачеркнуто).

Дорожки сузились, петляли, уводили в мягкую, ватную сумрачность (зачеркнуто).

Я была в туфлях, но казалось, что давно уже иду босиком (зачеркнуто).

То, что произошло с нами потом, было так логично: темнота, осенняя тишина, растительно-порфировая винность (зачеркнуто).

Мне не хотелось ничего, кроме этого ощущения босых ног, хмеля в саду и в голове, полета и падения (зачеркнуто).

Если бы ты сам в конце концов не разъял свои объятья, клянусь, я никогда бы тебя не отпустила, и мы, чего доброго, срослись с тем шершавым стволом (липой, ольхой, тополем, осиной?), к которому бесконечно долго прижимались с таким остервенелым и вытрясающим душу восторгом…»

Я отложил письмо в сторону. На самом деле, мне не был приятен этот возврат во времени. Все, что происходило между нами дальше, больше четырех лет, показало мне, что я всего-навсего эгоист и хитрый игрок, шулер, вытягивающий из доверчивого соперника взятку за взяткой. Но я ошибся. Почему я не допускал, что у Нинель может быть своя игра? Ответ один. Герой, придуманный автором, рано или поздно начинает им управлять, и горе, если пишущий проглядит момент, когда это случится. Я «писал» Нинель, «смаковал» ее чувственность, «сочинял»

сюжет нашей связи и попался как мышонок на кусочек сыра в мышеловке. То есть Нинель получала удовольствие куда большее, чем я. Из чего я сделал вывод, что нельзя играть по-крупному с тем, для кого игра — жизнь или смерть, когда для тебя она — лишь профессия. Томас Манн предупреждал, что каждый созданный писателем на бумаге эпизод может стоить ему жизни.

Падая в прихожей, я успел вспомнить об этом.

Я залюбовался собой, а в это время Нинель подкрадывалась все ближе и ближе. Она оказалась более ловким шулером, действующим к тому же под прикрытием своего хитрого Рудольфа.

Последние три страницы письма оказались ловушкой. Нинель расставила ее откровенно, точно рассчитав, что я попадусь в нее именно потому, что буду поражен столь наивной подставой. Как любовники, мы прекрасно изучили друг друга. Моя жена и две дочки находились в санитарной зоне, любовь к ним была стерильна и дезинфицирована моим представлением о супружеском счастье. Само собой, секреты, тайны и интимные подробности в этой зоне были аккуратно обернуты белоснежными бинтами и уложены в неприкосновенные коробочки.

Не отдавая себе отчета, я старался соответствовать неким идеалам и был предельно литературен. В отношениях с Нинель все вырывалось за рамки приличий. Никто не запрещал никому ничего, мы, не сговариваясь, превращали весь мир в нецензурное любовное приключение.

Ее горячее тело с коротковатой талией и коротковатыми ногами производило на меня действие подобно дозе хорошего алкоголя. Вообще ленивый и апатичный, с любовницей я превращался в энергетический вулкан. Меня это, не скрою, поражало. Потом я понял, что в каждом человеке скрыты бездны, которые могут распахнуться не только под влиянием воспитанности, культуры, образованности, но и благодаря одной только кипящей крови. Соотношение первого и второго никогда ничему не соответствует. И никак ничего не объясняет. В одном случае лучшим механизмом сближения будет целомудренное ухаживание и долготерпение, в другом — неприкрытая жадность и вдруг смутное облачко запаха: кожи, волос на голове или даже одежды и обуви.

Страсть может быть темной, чтобы не ослеплять, а скрывать от чужих глаз то, чего лучше никогда не рассказывать про себя и свою любовницу.

Объясняя мне на последних страницах, что с некоторых пор Рудольф догадался о нашей близости, Нинель предусмотрела, какое это произведет на меня впечатление. Равнодушие, подкрашенное мрачным колером презрения — как это ее возбуждало!

Меня же трепал бес словесного конструирования. Уже шевелилась в мозгу личинка новой пьесы. Три персонажа, женщина и двое мужчин, каждый из которых обуреваем любовью к своей мечте, вынужденно существуют втроем, меняются постелями и изводят друг друга жесточайшими претензиями, не в силах прекратить этот мучительный и сладчайший кошмар. Я уже ставил перед собой практически неразрешимую задачу: обнажать любовь во всех ее позах и пароксизмах. Раздевать чувство. Описывать его только языком перегретой чувственности со всеми психоневротическими припадками.

Традиционно любовь здесь, у нас, на страницах наших книг или пьес должна была болтаться на веревочках социальности, хромать на костылях «можно-нельзя», быть внешне значительной и внутренне пустой. Иного не допускалось. Автор видел героиню, сводившую с ума героя, не порождением бога или дьявола, как и бывает на самом деле, а словоохотливой дурой, пришедшей из библиотеки или оторвавшейся от кульмана.

Бог и дьявол по молчаливому сговору между писаками запирались в редакторский сейф. О, нравственный штамп и круговая порука, трусость, превратившиеся в авторскую закомплексованность! Мне нужна была Нинель, чтобы в самом себе убить этот комплекс, нищебродскую трусость и выпустить на волю бога или дьявола.

Четыре года безумств с этой девочкой-женщиной позволили мне понять, о чем я хочу писать. Именно о любви, о которой можно было сочинять всем, от Шекспира до Набокова, но только не нам, русским беллетристам и «совкам».

Лев Николаевич Толстой тут не в счет. «Анна Каренина» не о любви, а о великом бремени нравственности.

Мне нужна была деталь, чтобы наконец решиться. Нинель прислала письмо с крошечными высохшими пятнышками от слез, эротическими камланиями и мрачной фигурой в черном плаще в исполнении Рудольфа. Это было то, что надо. «Влажный очажок» — как дразнит и соблазняет трепетно-скрытным и недвусмысленным маночком молоденького Ганса Касторпа великолепная мадемуазель Клавдия Шоша из «Волшебной горы».

Книга с великим романом Томаса Манна лежала рядом с моей кушеткой, на моей обветшалой, скрипящей даче. Я убеждал Нинель, что в романе немецкий писатель очень сладострастно и коварно тянул, словно беспримерную близость мужчины и женщины, любовный оргазм между восемнадцатилетним благовоспитанным бюргером и тридцатилетней русской ведьмочкой.

И все время читал вслух сцену карнавала в рождественскую ночь, в столовой туберкулезного санатория под Давосом, сцену, где соблазнение, которого как бы не было, выглядело тем не менее пиком эротики.

Я читал, а Нинель, жарко дыша, вздрагивала у меня на плече.

*«— Маленький буржуа! — сказала она. — Хорошенький буржуа с влажным очажком. Это правда, что ты меня так сильно любишь?*

*— О, любовь, ты знаешь… тело, любовь, смерть — они одно. Ибо тело — это болезнь и сладострастие, и оно приводит к смерти, оба они — чувственны, смерть и любовь, вот в чем их ужас и их великое волшебство!*

*Но смерть, понимаешь ли, это, с одной стороны, что-то позорное, наглое, заставляющее нас краснеть от стыда, а с другой — это сила, очень торжественная и величественная, — гораздо более высокая, чем жизнь, которая хохочет, наживает деньги и набивает брюхо, — гораздо более почтенная, чем прогресс, который болтает о себе во все времена; а смерть — это история, и благородство, и благочестие, и вечность, и то, что для нас священно, в присутствии чего мы снимаем шляпу и ступаем на цыпочках.*

*То же самое относится и к телу: телесная любовь — это что-то неприличное, дурное, и тело своими покровами краснеет и бледнеет от страха и стыда перед самим собой. Но тело излучает также великое и божественное сияние, это чудотворный образ органической жизни, святое и дивное явление формы и красоты, в любви к нему, к человеческому телу, тоже выражается в высшей степени гуманитарный интерес к человечеству, и это — более мощное воспитательное начало, чем вся педагогика мира вместе взятая!.. О, завораживающая красота органической плоти, созданная не с помощью масляной краски и камня, а из живой и тленной материи, насыщенная тайной жизни и распада! Посмотри на восхитительную симметрию, с какой построено здание человеческого тела, на эти плечи, ноги и цветущие соски по обе стороны груди, на ребра, идущие попарно, на пупок среди мягкой округлости живота и на тайну пола между бедер!*

*Посмотри, как движутся лопатки на спине под шелковистой кожей, как опускается позвоночник к двойным, пышным и свежим ягодицам, на главные пучки сосудов и*

*нервов, которые, идя от торса, разветвляются под мышками, и на то, как строение рук соответствует строению ног. О, нежные области внутренних сочленений локтей и коленей, с изяществом их органических форм, скрытых под мягкими подушками плоти!*

*Какое безмерное блаженство ласкать эти пленительные участки человеческого тела! Блаженство, от которого можно умереть без сожалений! Да, молю тебя, дай мне вдохнуть в себя аромат твоей подколенной чашки, под которой удивительная суставная сумка выделяет скользкую смазку! Дай мне благоговейно коснуться устами твоей Arteria femoralis*, которая пульсирует в верхней части бедра и, пониже, разделяется на две артерии tibia**! Дай мне вдохнуть испарения твоих пор и коснуться пушка на твоем теле, о, человеческий образ, составленный из воды и альбумина и обреченный могильной анатомии, дай мне погибнуть, прижавшись губами к твоим губам!*

*Он открыл глаза, только когда сказал все это; откинув голову, простирая руки, в которых держал серебряный карандашик, он все еще стоял на коленях, трепеща и содрогаясь. Она сказала:*

*— Ты действительно поклонник, который умеет домогаться с какой-то особенной глубиной, как настоящий немец.*

*И она надела на него бумажный колпак.*

*— Прощайте, принц Карнавал! Сегодня у вас резко поднимется температурная кривая, предсказываю вам!*

*Она соскользнула с кресла, скользящей походкой направилась по ковру к двери, на пороге нерешительно остановилась, полуобернувшись к нему, подняв обнаженную руку и держась за косяк. Потом, вполголоса, бросила через плечо:*

*— Не забудьте вернуть мне карандаш!*

*И вышла из комнаты».*

Ночь (осенняя, весенняя, не важно какая) сидела, задумавшись, под небольшим дачным окошком. В доме горели свечи (перебои с электричеством) и пахло старыми листьями.

— Ты думаешь, она его любит?

— Конечно. Мадемуазель Клавдия Шоша любит всех, кто ей поклоняется.

— То есть как ты меня?

— Нет. Как ты меня.

Она отвела взгляд, в ее глазах, направленных на черное окно, появилась задумчивость и блеснули слезы.

Я погладил кончиком носа ее прохладный висок:

— О чем ты теперь думаешь?

Нинель крепко прижалась ко мне, всхлипнула по-детски и шепнула, мокрыми губами пощекотав мне ключицу:

— Ты в меня только не влюбись.

Последние три строки письма походили на сухой стук метронома:

«Мы в западне, но, кажется, нас там трое. Конец этого приключения обещает быть интересным. Послезавтра мы с Рудольфом отправляемся в Селище, в нашу деревню. Рудольф приглашает тебя поехать с нами. У мужа есть идея новой пьесы, он готов ее с тобой обсудить. Встреча назначена на втором пути Савеловского вокзала в 22.00, у десятого вагона пассажирского поезда номер одиннадцать «Москва — Ленинград». Билет на тебя заказан. Приезжай.

Однако на твоем месте я ни за что бы не поехала!»

Письмо я сжег, а пепел высыпал в мусоропровод. Моя Нинель хорошо знала, во что ввязалась. Но она, бедненькая, слишком плохо знала меня.

---

* *Бедренная артерия.*

** *Большая берцовая кость.*

Селище — умирающая, чахоточная деревенька с осевшими домами, похожими на сгнившие зубы. От железнодорожной станции мы шли до нее больше часа, местность была пустынная и точно заснувшая. Июльский день был ветреный, утреннее солнце остывало под его порывами, и земля долго не могла прогреться.

Я шел в толстом свитере и тащил рюкзак с консервами. Рудольф и Нинель тоже были перегружены сумками с провизией и хозяйственной утварью. Мы не разговаривали. Когда останавливались, чтобы отдохнуть, я курил, а хозяева бродили по кустам вдоль дороги в поисках грибов. Наконец Рудольф нашел свинушку трупного фиолетового цвета и со шляпкой, напоминавшей распухший зад лилипута-уродца. Они долго обсуждали находку: как я понял, Нинель предлагала странный гриб выкинуть от греха подальше, а Рудольф обыскать всю поляну, так как свинушки растут грибницами.

Я молчал и курил в стороне. Сначала мне было смешно наблюдать за этими семейными препирательствами, а потом подумал, что я в этой компании и есть та самая свинушка, которой надлежит то ли быть брошенной под куст, то ли послужить отравой для кого-то из этих театралов.

Нинель спорила с обычным женским упорством и бессмысленностью — вдруг она посмотрела на меня и, думаю, прочла на моем лице холодное презрение к ним обоим. Она замолчала, подошла к своей сумке, перекинула ручку-ремень через плечо и пошла по дороге прочь. Рудольф окликнул ее, но она не обернулась. Он посмотрел на меня и показал гриб. Я пожал плечами. Рудольф свистнул и запустил свинушкой вдогонку жене, но не попал. Гриб упал на землю и разлетелся на крошки. Нинель обернулась и постучала согнутым пальчиком по лбу.

«Начало спектакля, — подумал я. — Трое сидят за столом, вносят фарфоровую дымящуюся супницу, разливают грибной суп по тарелкам, но ни один из них к еде не притрагивается. Сначала зритель не понимает почему, а потом оказывается, что все трое подозревают друг друга в покушении на убийство и боятся быть отравленными. Такая длительная и загадочная пауза вначале, которая должна разрешиться чем-то вроде прихода полусонного дедушки, который просит налить ему супа, но его вместо этого грубо выпроваживают из комнаты. Дедушка скандалит и лезет в драку, жена наконец уводит старика, а мужчины так и сидят за столом как сычи. И так будет весь спектакль: бутылку вина, чашку кофе или вазу с фруктами герои воспринимают как возможный яд и все больше ненавидят и боятся друг друга».

До деревни мы добрались часам к шести утра. Еле-еле открыли заржавленный замок на калитке и зашли во двор. Он весь был завален прошлогодней листвой, сухостоем и всякой природной дрянью. Из-под дома, унылого и таинственного, как древний сундук, Рудольф достал носилки, и мы стали с ним убирать мусор. Нинель втащила сумки в дом и загремела там ведрами, кастрюлями и посудой. Скоро запахло кофе. А мы навалили огромную кучу хлама в дальнем углу участка и подожгли ее. Куча защелкала, затрещала, и в небо поплыл густой серый дым.

Ветер тут же стих, стало жарко, солнце словно ожидало нашей огненной забавы. Теперь оно, довольное, залезало на синюю верхотуру все выше и выше, смело расталкивало перистые облачка и становилось с каждой минутой горячее и шарообразнее. Я опять закурил и стоял у костра, глядя на пламя. Рудольф ушел в дом. Даже работая, мы не сказали друг другу ни слова.

Деревню Селище затопила плотная тишина, и треск нашего костра делал ее еще более непроницаемой.

Думаю, что пролог второго — загородного — действия был великолепен.

На завтрак мы съели бутерброды с ветчиной и напились кофе. Рудольф извинился и ушел спать в дальнюю комнатку (мы не спали ночь в душной плацкарте), Нинель кипятила воду, чтобы мыть посуду, а я вышел прогуляться. Несмотря на солнечный день, Селище произвело на меня унылое впечатление. Дворы за низкими заборами из потемневших досок были пусты, в деревне не слышалось ни хозяйственных звуков, ни человеческих голосов. Не лаяли собаки, не копошилась домашняя живность, не звенели топоры и пилы, не гремели ведра, не хлопали двери, заросшую высокой травой дорогу не переходили куры или гуси, вообще не было видно ни одной живой души. Я дошел до последнего дома — их было немного, десять или двенадцать — так никого и не встретив. За деревней дорога спускалась вниз, теряясь почти сразу в зарослях лопухов и лебеды. Метров через двести полевой ковер обрывался у переднего края очень темного леса, который выставлял на обзор опушку, изрешеченную молодым осинником и укрепленную двумя огромными слоноподобными дубами.

Постояв минут пять на краю деревни, я вернулся к дому. Безлюдье, усиленное равнодушным лесным молчаньем, томило сердце.

— Как ты себя чувствуешь, Сашенька? — спросила Нинель, уже закончившая уборку и сидевшая на ступеньках крыльца. На ней было цветное ситцевое платье с открытым воротом и короткими подолом. — Что-то случилось?

— Гнетущая тишина в вашей деревне. Как на кладбище.

— Просто здесь давно уже никто не живет.

— Совсем?

— Молодежь разъехалась, старики умерли, дома́ почти все проданы или брошены. А нам с Рудольфом нравится. Кругом природа, вечное молчание и тишина почти космическая. Особенно вечерами и по ночам.

Я опустился на горячую деревянную ступеньку. Нинель качнулась и мягко отодвинулась в сторону.

— Прости, пожалуйста… Ты что — там, под платьем — без одежды?

Нинель улыбнулась:

— Тебя это волнует?

— Немного. Это так нужно?

— Когда погода хорошая, мы вообще ходим здесь голышом. Кстати, полезно для здоровья. Но ты не бойся, при тебе ничего такого не будет. Зачем дразнить гусей, верно? Ситуация и так запутанная, ни к чему вязать лишние узелки на веревочке.

— Ты права, незачем. И потом, у меня нет желания выглядеть идиотом.

— Конечно. Если хочешь знать, мне вообще неприятно говорить на эту тему.

— Хорошо, не будем.

Некоторое время мы сидели молча. Возможно, от предыдущей бессонной ночи или, может быть, от дневной обморочной тишины, пронизанной солнцем, я почувствовал себя нехорошо. Происходящее вдруг стало казаться странным мороком, недосмотренным сном или, лучше сказать, сном, который начал сниться до того, как я уснул. Очевидно, лицо у меня побледнело, потому что Нинель вдруг прижала ладони к моим щекам, стала осыпать мое лицо поцелуями и быстро-быстро шептать:

— Сашенька, не поддавайся этому дурману. Я же просила тебя не ездить с нами, потому что очень боялась за тебя. Ты меня не послушался, и напрасно. Беда с нами рядом, ты пока не понимаешь этого, но уже предчувствуешь ее близость. Скажи, что тебя тревожит? Чего ты вдруг испугался? Обними меня покрепче, и сразу успокоишься. Иди сюда ко мне, ласковый мой… Я маленькая и слабая, но укрою тебя от всех здешних кошмаров.

Неожиданно я разозлился и вырвался из ее рук. Но не встал и не ушел, а продолжал сидеть и смотреть ей в глаза. Обычно светло-синие, нежные и кроткие,

сейчас они стали фиолетово-чернильными и смотрели на меня с откровенной страстью и жадностью.

— О чем ты говоришь? — прошипел я.

— Ты сам сказал, что деревня показалась тебе очень странной. Похожей на кладбище. Здесь на самом деле много загадочного. С южной стороны начинается овраг, за ним болото, которое называется Бо́чей. Через него нет прохода, потому что безопасные пути меняют свое положение каждую неделю. В лес нельзя попасть, если не поприветствовать в правильном порядке два старых дуба на опушке. А там, — Нинель оторвала руку от моей правой щеки и встряхнула кистью, словно взбалтывала воздух, гоня его на север, — крошечное озеро Гли́ница, глубины которого никто не знает и в котором раньше кто-нибудь обязательно тонул, желая достать дна. Жить здесь хорошо, но опасно.

Внезапно она наклонила свое лицо так близко к моему, что я почти увидел, как краска из ее потемневших глаз переливается в мои зрачки. Ощущение было не из приятных, я почувствовал, как по спине бегут мурашки и волосы на голове начинают шевелиться.

— Неля, отпусти меня!

Но она обняла меня еще крепче, прижалась всем телом, и мне вдруг показалось, что никакого ситцевого цветного платьица на ней уже нет. И я сам давно сижу без одежды.

— Не переживай. Все будет хорошо, — она опустила веки, словно засыпая. — Моя бабушка Даря была местной колдуньей и кое-что мне рассказывала про здешние чудеса. Я знаю, как вести себя в Селище. Иди сюда, Сашенька…

Горячие, беспокойные женские губы скользнули по моим губам, кажется, моя любовница продолжала что-то говорить, но я уже чувствовал, как мы остервенело целуемся, я что-то мычу, хватая ноздрями воздух, а потом мы замираем в долгом поцелуе, больше похожем на столкновение двух планет, за которым последовал ослепительный катастрофический взрыв.

— Хочешь, пойдем в лес? — прерывистый шепот переливался из ее рта мне в горло. Темнело в глазах и в голове.

Но ответить на ее откровенный вопрос я не успел. Нинель оторвал от меня порыв ураганного ветра, она вскрикнула, а я чуть не стукнулся лбом о деревянные половицы. Я хотел вскочить, но сильный удар в плечо остановил мою попытку. Рывок и удар обрушились на раздувающуюся между нами нежность словно тяжелый молот, раздавили ее в один миг и превратили в лепешку.

Надо мной с голым торсом и голыми безволосыми ногами, наряженный в широченные малинового цвета бермуды из парусины, Голиафом высился абсолютно невозмутимый Рудольф. Нинель вырвалась из его рук и скрылась в доме. Рудольф спустился с крыльца во двор и теперь стоял ко мне спиной, почесывая в затылке.

— Нам надо объясниться, — сказал я пошлую водевильную фразу.

— Мне показалось, что это вам надо между собой объясниться, и чем скорее, тем лучше, — парировал он. — И оставить друг друга в покое. Что до меня, то сегодня вечером я планировал поговорить с тобой о новой пьесе.

— Хорошо. Тогда я просто извиняюсь.

— За что? Вспомни русских любовников начала прошлого века, поэтов и художников. Пунин, Аренс и Ахматова. Лиля, Ося и Маяковский. Волошин, Сабашникова и Ива́нов. Всегда втроем, где двое в браке, а двое в тисках страсти. То есть мне нравится, что нас тоже трое. Кто-то считает, что источником вдохновения служит любовь, кто-то предпочитает считать таким источником ненависть. А мне кажется, что вдохновение истинное рождается только между любовью и ненавистью как между двумя противоположными зарядами, электроном и протоном, —

он обернулся и радостное лицо его показалось мне невероятно глупым. — Дело не в том, что мы любим и спим тайно с одной и той же женщиной. Просто таким образом оформилось наше беспокойство. Серебряный век украшал подобное беспокойство открытостью, наш век хочет укрыть его завесой тайны. Но суть одна. Женщина — только хмель, только градус борьбы, которая придает мужчинам силы на пути к гениальному артефакту. Ты напишешь великолепную пьесу, по которой я разыграю потрясающий спектакль. Беспокойство сыграет свою роль — и умрет как ненужная больше организму воспаленная, больная клетка. Кто-то из троицы умрет вместе с ней… Обряду требуется жертва, но это будет наименьшая жертва во имя святого дела художественного воскрешения.

Рудольф говорил всю эту чушь хорошо поставленным голосом самовлюбленного идиота. Кажется, он пытался объяснить мне, зачем меня сюда притащили. Поэтому я не возражал, наблюдая за тем, насколько этот словоблуд захвачен своей фальшивой идеей. Но получалось наоборот. Вымершая деревня, полураздетые муж с женой, закипавшая летняя жара начинали действовать на меня отупляюще. Я сидел на крыльце, слушал Рудольфа и определенно терял нить сюжета, как заболевающий гриппом утрачивает связь с реальностью, погружаясь в температурные миражи.

Звучный голос режиссера в парусиновых штанах казался мне то шепотом, то бульканьем, произнесенные им слова разламывались, потом надувались и таяли, словно облачка сигаретного дыма. Больше того, я на ходу засыпал. Сидеть на полу становилось все неудобнее, хотелось растянуться на теплых досках, положить руку под щеку и закрыть глаза. Рудольф продолжал говорить, а у меня в голове катались строки мандельштамовского стиха, наподобие колыбельной: «А стены проклятые тонки, и некуда больше бежать, а я как дурак на гребенке обязан кому-то играть…»

Проклятая литературщина! Зыбучий песок и бесконечный ветер!

Картинка солнечного двора с высоким мужчиной теряла краски, тускнела и глохла.

— Конечно, я должен был бы дать тебе в морду. Сразу и без предупреждения. Слышишь, писатель?

Я открыл глаза. Передо мной стоял Рудольф с алюминиевой кружкой в руке.

— Но не успел. Тюфяк и баба.

— Что?

— Ничего. Выпей колодезной воды, помогает.

Я схватил кружку и выпил ледяную и почти безвкусную воду. Сонная одурь отпустила, я пришел в себя и понял, что стоявший передо мной Голиаф взбешен и готов сцепиться со мной не на шутку.

Я напрягся и осторожно спросил:

— В чем дело, Рудольф Аркадьевич?

— Дело в том, что ты попался этой ведьме — моей жене — на крючок. Как пятнадцатилетний пубертат. Она неспособна любить. Она просто распаляет мужчину и греется его самостью. Все, что ты получил от ее ядреного тела и лживой душонки, отдашь потом с лихвою. Ты останешься ни с чем, а она дополна насытится твоей свежей кровью. Мою она выпила за год с небольшим после свадьбы. Только я оказался хитрее. Ведьмам-актрисам не стоит играть с чертяками-режиссерами. Я загнал ее в угол фригидности, потом заставил месяцами не знать близости и ласки в супружеской постели, стал выдавать ей порциями роли как замену оргазму, и в конце концов до конца овладел всем, что являлось для нее смыслом жизни — страстью как заменой смерти. Это оказалось совсем нетрудно. Время, терпение, осторожность — и все. Ведьмы сгорают не на кострах инквизиции, тут Джироламо Савонарола ошибался, они превращаются в пепел на костре чувственности, который надо умело разжечь, и только.

— Зачем?

— Что именно?

— Зачем вы мне это рассказываете?

Он резко выхватил кружку из моих рук и помахал ею у меня перед носом.

— Чтобы ты не расслаблялся, писатель, — в его голосе появилась ядовитая требовательность, которую я слышал много раз на репетициях. — Мне нужна от тебя гениальная пьеса. Через пару месяцев. Идею надо родить к концу нашей деревенской вакации. Или…

Если бы я опустил взгляд или стал смотреть в сторону, то ни за что бы не увидел, как в его тусклых серых зрачках всплыла неожиданно та самая чернильная тьма, которая полчаса назад поразила меня в пылающих глазах Нинели.

Я не трус и не слабак, но это видение вдруг ударило меня током, на языке возник вкус ржавчины, а по спине пробежал холодок.

Рудольф молчал.

— Или что? — пробормотал я.

Он ткнул указательным пальцем в сторону двери, в которую ушла его жена. Получалось, намекая черт знает на что, на какое-то неприличие или вообще свинство. А может быть, имея в виду что-то прямо противоположное и просто запрещенное, совсем невероятное, на грани физического насилия или уголовщины.

— Это угроза?

— Нет. Пища для твоего авторского воображения.

Я встал и, старясь не дрогнуть голосом, сказал:

— Мне не нравится то, что здесь происходит. Будете угрожать — я уеду. Станете оскорблять вашу жену и меня — получите сдачи.

— Упаси бог! — Рудольф изобразил на лице робость и согласие. — Какие могут быть оскорбления и угрозы? Мы даже можем заключить договор на написание двухактной пьесы. Какая сумма тебя устроит? Сто тысяч подойдет?

Внезапно я почувствовал себя сообщником неизвестно какого заговора и почти сразу понял, что влип по уши. Притворяться невиновным и целомудренным было глупо. Кажется, все мы стоили друг друга, могли посоревноваться каверзностью ума и порочностью, так что делать глаза голубыми и наивными не было смысла. Рудольф откровенно покупал мои литературные способности — надо было продаваться. Все равно посторонние никогда не узнают, какие грязные поступки и животные чувства лежат в основе возможной будущей прекрасной пьесы.

— Ладно, я согласен, — сказал я. — Предлагаю до вечера оставить друг друга в покое. Отказываться от вашей соблазнительной интриги я не буду. Тем более, что мог предположить, зачем сюда еду.

— Думаю, что жена будет рада твоему решению. Пойду, расскажу ей о нашем разговоре.

В этот момент открылась дверь и на крыльцо вышла сама артистка, абсолютно спокойная и уже переодевшаяся. На ней были джинсы, синяя футболка с забавным принтом хитрого пушистого котенка и подписью «Кот да Винчи» и белая косынка на голове, завязанная как бандана. В руке Нинель держала пузатую корзинку.

— Так? — Рудольф приподнял брови.

— Пойду наберу картошки к ужину. Посмотрю, есть ли что-нибудь на огороде у бабы Гани. Поможешь?

Голиаф спустился с крыльца, присел на корточки, вытащил откуда-то из-под ступенек короткую лопатку, проверил ее лезвие, удовлетворенно хмыкнул и пошел к калитке. Нинель коротко посмотрела на меня.

— Не скучай, — она сказала это так душевно, словно погладила меня по голове. — Скоро вернемся.

Пришли они с картошкой не раньше чем через час. Оба вспотевшие и довольные. Думаю, что огород их раззадорил и они занимались не только сбором картошки. Корзина была доверху набита пузатыми, черно-красными клубнями. Пока хозяев не было, я облазил весь участок, осмотрел дом и сарай, привалившийся к забору. Ничего интересного не нашел, везде запах пыли, паутина и мышиный кал. Заброшенность была классическая.

Я — закоренелый горожанин, не люблю природы и, в общем-то, ее не понимаю. Мне по душе замкнутость квартирного пространства, в его плену я чувствую себя хозяином, по-настоящему ловким и свободным. Дача или деревня раздражают меня бесконечными звуками, запахами, обильностью воздуха и красок. Они убивают мое воображение. Письменный стол и монитор компьютера — моя свобода. Все остальное — кандалы и глухая стенка.

Я — одиночка, влюбленный в свою одиночную камеру. Поэтому хорошо понимал, что Селище начнет угнетать меня очень скоро.

Тем временем первый деревенский день подходил к концу. Солнце село в потемневший лес, на юго-западе выглянул месяц, стало еще тише и теплее. Воздух стал вещественным, словно толстое мутное стекло. Земля отдавала дневной жар, трещали кузнечики, вокруг светившегося электрическим шафраном окна вилась мошкара.

В доме слышался прореженный смехом диалог. Я опять сидел на теплых деревянных ступеньках крыльца и смотрел на разгоравшийся месяц. Двор темнел, со всех сторон наползали тени, мир становился молчаливым, далеким и незнакомым.

Из дома вышел Рудольф, набрал воды из колодца и скрылся с полными ведрами за дверью. Мы не обменялись ни одним словом: в нашем молчании тоже были отдаленность и вежливое дружелюбие.

Но поздним вечером, за ужином, между нами произошел неприятный разговор. На столе шипела сковорода с жареной картошкой, лежали нарезанные огурцы и помидоры, копченая колбаса, хлеб в плетеной вазе, стояли три чисто вымытых стакана и открытая бутылка красного испанского вина. Мы жевали, стучали вилками, хрустели огурцами и передавали друг другу то солонку, то хлеб, то салфетки.

Ссора возникла из ничего. Рудольф наполнил вином стаканы, встал и произнес тост:

— Замечательное вино, великолепная ночь, прекрасная компания! — он рассматривал на свет пурпурный от вина стакан и странно улыбался. — Три прекрасных человека, у каждого из которых есть своя прекрасная цель. При этом никто из них не спешит сообщать о своей прекрасной цели. Но мы не будем осуждать за такую неторопливость никого из здесь присутствующих. Будем считать, что эта встреча столь же бесцельна, сколь и безопасна. Будем считать, что пока нам достаточно вина, ночи и трех прекрасных, безопасных тайн.

Нинель легонько постучала вилкой по своему стакану и с шутливым укором произнесла реплику Раневской из чеховской пьесы:

«— Ты все такой же, Леня».

Рудольф не растерялся и поддержал эту игру виноватым голосом, как Гаев:

«— От шара направо в угол! Режу в среднюю!»

Я терпеливо ждал, что будет дальше. По тому, как усиливался голос режиссера, как розовели щеки у актрисы, как у них обоих разгорались глаза, я начинал догадываться о задуманной перепалке. Как бы театрализованной, шутовской и несерьезной, но в которую я, видимо, в конце концов должен был быть втянут, доведен до раздражения или вульгарного срыва, то есть стать участником дурацкой

клоунады, разрешением которой будет, очевидно, совсем нешуточная ссора или вообще драка.

Драматургическое чутье меня не обмануло. Нинель повернула головку в мою сторону, заговорщицки мне улыбнулась и протянула руку со стаканом, чтобы мы чокнулись. Я изобразил на лице непонимание: почему только мы с тобой, а как же муж?

Голиаф смерил нас обоих коротким и колючим взглядом. Нинель покраснела еще больше, улыбка на ее губах задрожала и, не зная куда деться, увеличивалась в размерах.

Режиссер, выручая партнершу, громко расхохотался и ткнул в мою сторону свободной рукой:

— Наш друг молчит. Что бы это значило, Липушка?

Она кокетливо пожала плечами и почти прошептала:

— Может быть, Саша растерялся? Наверное, ему кажется, что нас двое, а он один. Ты же обещал мне играть по-честному, Рудик! Если мы здесь трое любовников — боже мой, конечно, в предлагаемых обстоятельствах, в создаваемой будущей пьесе! — он имеет право чувствовать себя на равных. Ты же хотел, чтобы Саша был автором, а мы только исполнителями. Я была в восторге от твоей идеи. Что-то изменилось? Или я не успеваю за ходом твоей мысли?

— Все в порядке. Меня просто озадачило молчание нашего писателя, — режиссер наклонился к актрисе и поймал ее губы. Она обняла его за шею свободной рукой, и они с минуту не отпускали друг друга. Наконец Голиаф легонько оттолкнул супругу, вдохнул полной грудью воздуха после поцелуя, шевельнул ноздрями, сглотнул слюну и посмотрел на меня прищуренными, ехидными глазами. — Ну что, будем молчать, писатель?

«Они меня не выпустят из своих лап, пока не добьются гадкого результата, — очевидность этой мысли меня поразила. — Но без боя я им не дамся!»

— Ну?

Не поднимаясь из-за стола, я поболтал в воздухе рукой со стаканом:

— Мы не выпили после вашего отменного тоста, Рудольф Аркадьевич. Так что я просто жду и думаю о хорошем глотке вина. Только и всего. И не надо меня дразнить вашим откровенным поведением. Ничего не добьетесь, не надо пыжиться. Сначала выпьем за прекрасную ночь и нашу великолепную компанию, а потом разберемся с тем, кому какую роль выпадет сыграть. Ваше здоровье!

Я выпил вина, взял кусок колбасы и стал его жевать, лениво и подробно, словно перекормленный кот. Я понимал, что противен хозяевам, но именно этого и добивался.

Рудольф что-то произнес, какое-то ругательство, и тут же выпил. Следом мелкими глоточками опустошила свой стакан Нинель. Я наложил себе в тарелку еще картошки, отщипнул хлеба и продолжил ужин. Театралы стояли как вкопанные и наблюдали за моими действиями. Кажется, мои слова и мое спокойствие их удивили.

Наконец они сели, но к еде больше не притронулись. Мне показалось, что Голиаф скрипит зубами, а Нинель дрожит от испуга. Тем не менее я продолжал есть, как бы не обращая на них внимание и вообще потеряв интерес к происходящему.

Голиаф не выдержал. Он налил себе еще вина, выпил, вытер салфеткой рот и сказал заготовленную гадость:

— Итак, четыре года вы, друзья мои, состоите в любовной связи. Резвитесь у меня за спиной, полагая, что я глуп и бездарен настолько, что ничего не замечаю. Так или нет?

Нинель, вздрогнув и словно собираясь шлепнуться в обморок, прикрыла глаза и схватилась за горло. Я ковырял вилкой в тарелке и хранил молчание.

— Так или нет, мерзавцы?

Актриса всхлипнула и закрыла руками лицо.

— Не́ слышу ответа!

— По́шло, — су́хо сказал я, выдержав пазу в пять или шесть секунд.

— Что значит по́шло?

— Пошлое и бездарное начало пьесы. Мертвая реплика. Нужен поступок, а потом уже можно будет дать текст. Если действие начнется с долгой молчаливой репризы, с непонятных поступков персонажей, зрителю будет гораздо интереснее. Объясняющие реплики возможны немного погодя, когда зал втянется в пространство сцены и проникнется атмосферой. Слов и музыки не надо ни в коем случае. Только однообразные, механически повторяющиеся действия героев и тишина. Этого вполне достаточно.

Рудольф смотрел на меня не отрываясь. Я отодвинул пустую тарелку и тоже посмотрел ему в глаза:

— И еще, Рудольф Аркадьевич. Договор на мою пьесу обойдется вашему театру не в сто, а в триста тысяч рублей. Не скупитесь. Аншлаг вам гарантирован. Это будет хит сезона, — я подвинул к нему бутылку и собрал в кружок наши стаканы. — А теперь давайте еще выпьем. У вас редкостное вино, очевидно, это арагонская лоза. Настоящая амброзия! Поверьте мне, в испанском вине я немного разбираюсь.

— Триста тысяч… Не много ли?

— Достаточно. Право надо оплатить.

— Авторское право?

— Нет. Право убить.

Неожиданно Нинель открыла глаза, дернулась всем телом, словно ее кольнули иголкой, и как-то не до конца вскрикнула. Муж хлопком ладони накрыл ее руку, точно ловил бабочку или пытавшуюся вспорхнуть маленькую птицу.

— Что значит убить? В чем дело, писатель?

— Только в том, что вы ошиблись насчет меня и моих способностей. Вы же начали сегодняшний вечер с тоста, в котором указали, что мы втроем сто́им друг друга. Три лгуна, мучающие друг друга любовью. И называющие любовью возможную близкую смерть. Или тайную мечту о ней. Продолжайте в том же духе. Пока вам это ничего не стоит. Всего триста тысяч, но разве это цена за такое страшное право?

— Прекрати, Саша! — Нинель отчаянно замахала на меня руками. — Прекратите оба! Вы сошли с ума, несчастные!

— Нет, Нелечка, — я покачал головой. — Никто из нас не сошел с ума. Мы всего-навсего не хотим осознавать беду. Мы подаем себя как ангелов, воспаривших благодаря этой беде. Это такая игра, наша любимая игра, в которой на этот раз все будет по-настоящему.

Рудольф не выдержал. Это была жесткая дуэль: между режиссером, актрисой и драматургом, в которой первый, зачинщик и провокатор, начинал уступать двум другим, которых, очевидно, считал своими подчиненными. И напрасно. Деревня Селище и дом-сундук, наполненный тлением и нашими невеселыми голосами, не походили на театр. Тут не было иерархии, а без комфортной иерархии раздевающаяся чувственность могла задеть очень больно. Командовать было некем. Зазор между выдумкой и правдой сужался. Власть над ситуацией переходила к тому, кто смелей и опасней.

Голиаф был не опасен, а безвкусен. Увы, но ему не хватало смелости на талантливое безумие.

Он поднял со стула свое длинное тело, шумно вздохнул и принялся ходить кругами по комнате. Я опять закурил. Нинель жалобно смотрела на меня и ис-

пуганно на своего мужа. Наконец Рудольф решился. Он прекратил топтаться, как конь, подошел к столу и навис надо мною:

— Я буду откровенен. Мне очень понравилась твоя «Плутовка». Поняв, что ты хочешь скандала, я, не сговариваясь ни о чем, с тобой согласился. Но это в прошлом. Теперь мне нужна пьеса о любви, о настоящей любви, похожей на извержение вулкана и на глобальное обледенение. Страсть должна породить новую расу, новый грех, а потом живое начнет вымирать, как мамонты в четвертичном периоде. Меня мучает пустота, которую мы зовем нашей жизнью. Пустота, заляпанная вечным страхом и ложью, — он побледнел и вдруг почти закричал, хватая меня за воротник рубашки длинными цепкими руками. — Театры полны пьес о войне, о проститутках, о ворах, о хитрожопых политиках, о тварях, копошащихся в своих экскрементах. Но нет ни одной пьесы о любви! Словно вырубило сердце у всех, кто посвятил себя театру. Был Лесков, потом Тургенев, но все оборвалось на Чехове. Он еще пытался разбудить души зрителей, но его герои уходили в туман времени, так ничего никому не объяснив. Пропадали из галактики как погасшие звезды и умершие планеты. Это невыносимо! Невыносимо!

Нинель кинулась к нему и попыталась обнять, словно ребенка. Рудольф выворачивался, кричал: «Нинель! Нинель! Оставь меня в покое!» — но она висла на муже и осыпала его лицо поцелуями.

— Господи боже мой! Саша, помоги мне! Он сейчас потеряет сознание!

Я выскочил из-за стола и коротко, но сильно ударил режиссера кулаком по лицу. Он отшатнулся к стене, ухватился за подбородок, по которому потекла кровь, и ошеломленно замолчал. Вся наша троица представляла собой великолепное зрелище. Трое сумасшедших, три гарпии, готовые выцарапать друг другу глаза и прокусить горло.

— Что ты делаешь, Саша?

Я оттолкнул Нинель в сторону и схватил Голиафа за плечи:

— Вы считаете нас любовниками, которые не скрывают связи даже от вас. И вам это нравится. Вы даже приплели к этой страсти Серебряный век. Так что? Вам нужна от меня пьеса о Серебряном веке нашего времени?

Рудольф молча кивал головой. Он совсем растерялся под моим напором и безумно вращал глазами.

— Хорошо. Я напишу именно такую пьесу. Но имейте в виду: каждый из нас будет виновен в том, что́ увидит на сцене зритель. Потому что секс, как говорил один философ Серебряного века, это путь к богу или к зверю.

После этих слов стало тихо.

Рудольф съехал по стене на пол. Он сидел, схватившись за голову, и плакал. Нинель стояла рядом, крестилась и шевелила губами: «Пресвятая Троице, помилуй нас… Господи, очисти грехи наша… Святый, посети и исцели немощи наша… Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь…» Она стала совсем маленькой, хрупкой, несмотря на крепкое от природы тело, девочкой с кукольным лицом и светящейся мучным, фарфоровым светом кожей. Девственницей, возрождающейся к чистому страданию и переживанию после каждого греховного похождения. Не любить это женское ведьмовство было невозможно точно так же, как и запах тела своей женщины, изнеможение от полезного физического усилия, первый разряд грозы после душного дня.

Я вынул новую сигарету, но не мог справиться со спичками. Руки дрожали, спички ломались и сыпались на пол.

Но я был собой доволен. Мы переплелись чувствами, как ядовитыми ветвями, намертво. Страсть волокла нас в чертоги бога и в логово зверя. Потому что отныне мы были мазаны одним миром. И теперь — какая удача, слышите? — я мог написа́ть о нас все, что угодно!

На следующий день погода испортилась. Подул западный ветер, небо пригнулось к земле, наползли серые тучи и зарядил мелкий холодный дождь. Дом наполнился сыростью, стекла на окнах стали волнистыми от постоянно текущей по ним воды.

В большой комнате целый день горел свет. Рудольф достал из шифоньера выцветшую плащ-палатку, широкополую кожаную шляпу, кривые кирзовые сапоги, с самого утра одевался в это рубище и куда-то уходил. Нинель хлопотала по хозяйству. Я сидел в углу за маленьким столом с маленькой настольной лампой и сочинял. Иногда актриса подходила ко мне и наблюдала, как я работаю. Мне это не мешало. Только чуть волновал запах разгоряченного кухней женского тела и иногда — целующее макушку облачко ее дыхания.

Как только с крыльца слышался кирзовый топот и шелест мокрого брезента, она быстро уходила в кухню и демонстративно гремела там посудой.

Так прошло три серых, неуютных дня. Первый акт пьесы «Любовь по имени Смерть» был готов. Рудольф перечитал рукопись, не говоря ни слова, подписал со мной договор на триста тысяч рублей и перестал обращать на меня внимание. Я взял паузу, бездельничал, выпил за день пятнадцать кружек черного кофе и выкурил две пачки сигарет. Тумана, который пока раскинулся на месте второго действия, я не боялся. Напишу самую первую реплику, и туман исчезнет.

Финал мне был ясен. Двое мужчин и любимая ими женщина пригласят друзей на свадьбу в загородный дом, но перед приездом гостей запрутся в доме и никого на порог не пустят. Опустится ночь, погаснет свет, сцену заполнят пары мужчин и женщин, которые будут бесцельно бродить во мраке. Кто они — непонятно. Почему их так много — загадка. Дуэтов будет все больше и больше, сцену затопит шорох десятков шагов, движение достигнет максимальной бесцельности, хаотичности — и вдруг все исчезнет. Задрожит неуверенный свет — но на планшете уже не будет ни людей, ни дома, ни теней, ни звуков. Великая пустота после великой попытки любить и жить. Только шевельнется через несколько секунд пол, словно испустит последний вздох какое-то гигантское животное.

Медленно уйдет свет. Раздастся еще один вздох из-под земли.

Где-то рядом, невидимые и неизбежные, возникнут безмолвно плачущий Бог, замерший в пароксизме Дьявол, невесомая, словно облако, Страсть.

Осиротевший мир.

Все. Занавес.

На настенном календаре вторник, седьмое июля. Раннее утро. Я проснулся с удовольствием, как маленький мальчик в день своего рождения. За оконным стеклом улыбался солнечный сине-зеленый мир. Я раздвинул две короткие батистовые шторки-тряпицы и выглянул во двор. Перевернутые ведра и несколько кастрюлек на штакетнике, белье на веревке, носилки, лежащие на дорожке кверху ржавым пузом. Алмазными россыпями сверкала в траве утренняя роса. Мигая белыми крылышками, пропорхнули две бабочки-капустницы. У колодца звенела цепь, видимо, кто-то из хозяев уже трудился в честь наступившего дня. Я натянул футболку, пляжные тапки, взял полотенце, пасту, зубную щетку и вышел на крыльцо. Стоять в тени на деревянном крыльце-берегу было холодно, но до солнечного океана оставались всего две узкие ступени.

Когда я умывался, мимо несколько раз прошла Нинель. Мы поздоровались, отметили, что утро прекрасное и день, видимо, тоже будет достойным. Нинель мелькала по двору и говорила что-то необязательное, пустое, словно стесняясь. Например, что к завтраку нажарены сырники и вынута из погреба заиндевевшая

коробка сметаны. Растворимый кофе кончился, я вчера добил последний запас. Рудольф на рассвете уехал в райцентр купить хлеба. И еще, чтобы я курил на улице, дом пропах табачищем, неужели нельзя быть внимательнее?

— Как идет пьеса? Рудольф волнуется, точно влюбленный.

Мне не хотелось говорить о пьесе раньше времени. К тому же мы сидели за неприбранным после завтрака столом, вокруг недоеденного сырника жужжала пчела, то и дело перелетавшая к миске с остатками сметаны, листок жира, словно лепесток слюды, лежал на верхней губе Нинель — и милая деревенская неопрятность, наша свобода и близость делали беседу отчасти пошлой. Глухое раздражение поднималось в душе, словно пар над кастрюлей, и я промолчал.

— Только не злись, — актриса отвернулась к окну. — Боже мой, какое сегодня солнце! Если Рудольф вернется засветло, предлагаю пойти искупаться. Ты ведь еще не плавал в нашей Глинице.

— Вряд ли я пойду с вами. Хочу серьезно поработать.

Словно не расслышав, она поднялась из-за стола и ушла в другую комнату. Раздался стук передвигаемых стульев, поскрипывание кровати, шелест белья. Не знаю, как объяснить, но я почувствовал, что эти звуки имеют ко мне прямое отношение, собственно, предназначены для моих ушей. Чтобы освободиться от тревожного прислушивания и догадок о том, что там происходит, я стал убирать посуду со стола, звенеть тарелками и чашками.

Пчела заметалась над сырником, я схватил полотенце и шлепнул насекомое изо всей силы.

— Оставь все на столе, не беспокойся, — женский голос звучал в глубине дома как сладкое пение сирены. — Я уберусь сама, только сменю постельное белье. Всего две минуты. Ты слышишь?

Мои глаза следили за скрюченным тельцем пчелы, вздрагивающим на клеенчатой скатерти. Крошечным стеклянным веслом-крылышком она все пыталась отгрести от смерти.

— Саша, иди сюда.

Дневное время и яркий свет нужны для того, чтобы мы ценили самую, может быть, естественную свою добродетель, а именно стыд. Вечер и ночь бесстыдны, когда искренность ценится как высочайший дар, как признание влюбленными всех без исключения прав на глупость, на избранность, на безобразия и на святость. Свет проще темноты, но он и обманчивее.

Когда я вошел в комнату к Нинель, она сидела на разобранной постели совершенно голая, завернувшись в простыню и чуть выставив персиково-сандаловое нагое плечо. Лицо у нее пламенело, волосы падали на виски, стреляя искрами, глаза одновременно были тусклыми и пьяными.

— Неля! Что ты делаешь, безумная?

— Замолчи! Сядь рядом со мной и постарайся ни о чем не думать. Когда любви приходит конец, женщина имеет право требовать то, что она заслужила своей верностью. Я не отнимаю тебя у самого себя, но я возвращаю себе часть, которая тебе давно не принадлежит, от который ты бескорыстно отказался и подарил мне навечно. До последнего удара моего сердца, кричащего ежедневно в пустоту и тобой не слышимого.

Как только я сел рядом, она обвила мою шею руками и стала целовать мне веки.

— Хорошенький мальчик с влажным очажком, — она смеялась и языком щекотала мне уголки глазных впадин. — Принц Карнавал! Сладкий дьявол в образе дистиллированного святого! Нет-нет, молчи и слушай. Ни ты, ни мой несчастный муж не понимаете самого главного. Чтобы любить, нужно хотеть счастья, а не гибели. Ты напишешь пьесу, он поставит спектакль, но вы не расскажете ничего

истинного. Наш век — век кованой лжи. Серебряный век — век инкрустированной, тонкой правды. Но он давно погас, и те люди скрылись во мраке вслед за ним. Они жили счастьем, а вы играете в счастье. Любой из нас достоин только смерти, но не любви. Их странные семьи крепила божественная удача. Гении рукоплескали гениям. Наши семьи случайны, потому что сложились от несчастий. Я могу владеть вами обоими, но не потому, что хочу этого, а потому, что вы боитесь остаться без меня. Тогда ваше существование станет совсем бессмысленным. Мне жаль вас, мальчики! Вам никогда не удастся то, что проще всего на свете.

С этими словами Нинель сорвала с себя простыню и швырнула ее на пол. Я закрыл глаза, стараясь не видеть то, на что любил смотреть прежде. Сердце колотилось так громко, что я ничего, кроме его ударов, не слышал. Не помню, сколько длились эти слепота и глухота, но отлично помню холодное предчувствие беды, пришедшее одновременно с ними.

Но этого оказалось мало. Как только из поездки вернулся Рудольф, он, как верный пес, сразу почуял, что в его отсутствие что-то произошло. Лицо у Нинель было словно удивленное, немного туповатое, точно она была поражена присутствием здесь мужчин. Мой вид, скорее всего, тоже отличался от нормального. Сам я чувствовал окаменелость, тяжесть в лице, мне хотелось быть грубым и гадким. Одним словом, разрядиться. Рудольф наблюдал за нами, а я еле удерживался от язвительных оскорблений в его адрес. Прошляпил жену, своими руками преподнес ее другому, признал себя рогоносцем, и все ждет, когда зазвучат фанфары в его честь! Купи револьвер с одним патроном или намыль себе веревку, слюнтяй, ты ничего, кроме смерти, не достоин, и то, если она будет быстрой и незаметной!

Голиаф скинул рюкзак и распорядился насчет хлеба. Нинель стала укладывать буханки в холщовый мешок, подцепленный к потолку, чтобы уберечь от мышей. Переодевшись в спортивный костюм, Рудольф поманил меня пальцем и вышел на крыльцо.

— Что тут было?

— Ничего. Неля прибиралась, я работал. Хочу побыстрее закончить пьесу и отвалить.

Рудольф нахмурил брови:

— Надоела наша компания?

— Не без этого.

— А как же союз трех любовников?

Меня начинала угнетать банальность всего происходящего. Режиссер видел в сложившемся адюльтере повод для творчества, а я чувствовал, что с труднообъяснимым удовольствием продаю за понюшку табака чистые и, казалось бы, такие бесценные отношения с Нинель. То есть я всего-навсего пошляк и циник, а никакой не Ромео или там Вертер. Антрополог, а не поэт. Не сердце, сжигаемое страстью, а влажный очажок, предваряющий банальную и унылую болезнь. Не царь Эроса и Танатоса, а всего лишь принц Карнавал. Поэтому я подыскивал слова, способные смертельно задеть этого самодовольного болвана.

— Хотите откровенно?

Голиаф кивнул, скосив при этом глаза на входную дверь и приложив палец к губам.

— Перестаньте клоунадничать! — я готов был психануть, но все-таки заставлял себя сдерживаться. — Ваша жена — самая обыкновенная женщина, просто, в отличие от вас, она любит все то, что даровала ей природа. Наша с вами болтовня не стоит ее мизинца, она ценит действия, а не слова. Если бы вы желали ей счастья и радости, то никогда не позволили себе игру, подобную той, которой решили развлечь себя в этой дохлой деревеньке. Так что слова ее не тронут, не волнуйтесь.

— Значит, все-таки действие?

— Унижение женщины, коей вы недостойны.

Неожиданно Рудольф два раза хлопнул в ладоши, наградив меня аплодисментами.

— А если я это понимаю? — спросил он.

— Значит, вы ничтожество.

— Ах ты, сосунок-писателишка! Заруби на своем носу, который ты засунул в чужую жизнь: настоящий грех — это осознанный грех. И мы привезли тебя сюда, чтобы ты понял это. В мире не осталось ничего, кроме Бога. Все остальное уже объяснено и убито такими же писателишками, как ты. Люди заняты подменой Бога: войной, политиканством, интригами. Но это дешевый эрзац, вернее, икона для умалишенных. Настоящий Бог чуть-чуть отошел в сторону, чтобы дать людям возможность выкричаться и выдавить из себя всю грязь.

— Ага! То есть вы такой новый Иоанн, провозвестник нового Апокалипсиса?

Рудольф некоторое время молчал, покусывая губы. И вдруг всплеснул руками:

— Мне казалось, что ты с нами. Вольно же мне было так ошибаться.

— Какая чушь!

— А триста тысяч рублей?

«Не послать ли мне его куда подальше? — соображал я. — Чего мне бояться? Даже если эти сумасшедшие что-то задумали, вряд ли у них хватит смелости шутить со смертью?»

— Молчишь? Значит, готов меня облапошить?

— Уговор дороже денег, Рудольф Аркадьевич. Через неделю получите пьесу в готовом виде. После чего мы распрощаемся. Надеюсь, что навсегда.

Голиаф высокомерно улыбнулся:

— Ты так уверен, что мне нужна твоя бредовая пьеса?

— Извините, Рудольф Аркадьевич?

— Ни фига подобного. Мне нужен ты. Тебя, кажется, предупреждали об опасности. Но ты сделал вид, что не понял. Смелый мальчик с влажным очажком! Теперь постарайся понять. За четыре года наслаждения грехом хотя бы один раз надо заплатить. Только не пьесой. Просто всем нам придется доиграть наш сюжет до логического конца.

Это было невероятно! Он не только знал, что его обманывают, но знал все до мельчайших подробностей со слов своей жены. Если вдуматься, то униженных было трое, каждый из нас был унижен: тайной, самообманом или откровенностью. Любовная лихорадка поражала разнообразием. Один любил себя, другой свое ничтожество, третья — ненасытный гедонизм. Каждый унижал двух других, получал от этого удовольствие, и в результате унижение воспринималось каждым как апофеоз наслаждения.

Мы были нужны друг другу, чтобы не устать от однообразия любви.

— Кстати, ты уже слышал, что исчезнуть в этих местах проще простого. Хочешь, отправляйся в лес, хочешь, пересеки болото Боча, хочешь, выбери еще какую-нибудь каверзу. Тебе уже все рассказали. А я от себя добавлю: можешь сидеть в доме и сочинять свою пьесу, но то, что тебя ожидает, давно уже готово.

— Идиотские сказки!

— Ну да, конечно, — он толкнул дверь и крикнул. — Липушка!

На крыльцо вышла Нинель. Ее обычно живое лицо сейчас напоминало маску из папье-маше с прорезями для глаз. Меня передернуло от внезапного омерзения. Но через несколько секунд я понял, что Нинель душит страх. Однажды я видел такую маску на ее лице, когда к нам ночью на улице пристал огромный, как медведь, торчок-наркоман. Я пытался его успокоить, чтобы не довести дело до

рукоприкладства, а она перепугалась и вдруг превратилась в восковую куклу из искусственного, мертвенно-бледного материала.

Я присмотрелся к актрисе, вспомнил тот гадкий случай и почувствовал, что тревога начинает мутно посасывать мое сердце.

— Мы пойдем искупаемся. Скоро солнце сядет, сейчас вода в Глинице самая теплая.

— Я с вами.

— Нет. Дай-ка нам полотенца и займись ужином. Мы скоро вернемся.

Я видел, что она взволнована и готова возразить мужу, но не смеет. Тревога нарастала.

— Я не пойду, — заявил я. — Не тот настрой.

Актриса подала Рудольфу два полотенца, бросив на меня короткий взгляд. Почему-то мне показалось, что ей нравится мое внезапное упрямство.

— Хватит переглядываться, — резко заметил он, выхватив полотенца. — Все будет в порядке, обещаю вам, друзья мои. Пошли, писатель.

Выйдя за калитку, я посмотрел в сторону дома. Нинель неподвижно стояла на крыльце, глядя нам вслед. Одной рукой она держалась за стропила, а другой, лежавшей на груди, словно наказанная ученица, теребила воротничок своего платья.

Через четверть часа мы с Рудольфом были у лесного озера. Вода коричневато-красного цвета стояла неподвижно, показывая, что здесь глубоко и не так уж безопасно. Озерцо было небольшое, метров пятьдесят в ширину и сотни полторы в длину. Один конец лежал на светлой от солнечных лучей поляне, другой уходил в тень арки, которую образовали стволы и кроны ольховника. На солнечном берегу у воды стояла самодельная скамейка, у пятачка, откуда купальщики спускались к озеру, лежали старые короткие доски, обозначавшие подход к воде, а из коричнево-красной глубины высовывались полуистлевшие поручни лестницы. В воздухе пахло сырой свежестью, лесным травостоем и разогретой июльским солнцем землей.

— Это и есть Глиница? — бессмысленно спросил я. Рудольф в это время снимал спортивный костюм и аккуратно укладывал его на скамейку. Раздевшись до трусов, он похлопал себя по ляжкам и по груди.

— Здесь все из глины с добавлением каких-то железистых почв. Поэтому у воды такой необычный красный цвет. И вода плотная, тяжелая. Сейчас сам почувствуешь. Раздевайся.

Я послушно разулся, стянул джинсы и рубаху.

— Пошли?

— С берега нырнуть можно? Там никаких стволов и пней не торчит?

— Здесь у берега сразу глубина в три метра. Как пропасть. Что на середине озера, неизвестно. Может, метров пять или все десять. И вода леденющая. Тут пять или шесть ключей, точно никто не знает. Поэтому советую для начала спуститься по лестнице, привыкнуть, а там — как пойдет. Ты плаваешь прилично? Вообще, глубины не боишься?

Сказав это, Голиаф еще пару раз взмахнул руками, несколько раз присел, подпрыгнул, смешно поджимая колени, и только потом приблизился к торчавшим из воды гнилым поручням. Посмотрев на поверхность Глиницы, как на дыру в полу, он обернулся:

— А я сам до сих пор боюсь. Перед тем как сюда лезть, про себя молитву читаю. Мало ли что случится…

Мне озеро категорически не нравилось. И не нравилась вся эта болтовня про странное железистое дно и загадочную глубину. Но стоять на берегу, раздевшись, и не лезть в воду — было совсем позорно. Поэтому я громко спросил:

— Здесь люди тонули?

— Я сам не видел. Но слухи ходили.

— Ладно. Проверим.

Я разбежался и с воплем рыбкой бросился в воду. Она встретила меня действительно тяжелой, резиновой плотностью и внезапным оглушительным холодом. Я вытянул тело, выпустил воздух, как кит, потом изогнулся и рванул на поверхность.

Вынырнув, я увидел плывущего ко мне Рудольфа. Он успел спуститься по лестнице и сейчас уверенно греб кролем в мою сторону. Было заметно, что пловец он неплохой, только почему-то работает одной левой рукой, словно правая повреждена или чем-то скована. Я держался на поверхности, болтая внизу ногами и подрабатывая руками.

Может быть, от вида этого недоплавания, словно ко мне приближался однорукий инвалид, или оттого, что мы оба сейчас существовали в чужой среде — вода, мышечная атрофия, внеземной холод — я почувствовал, как в душе растет страх. Похожий на тот воображаемый ужас, который неосознанно действует на человека, наблюдающего в зоопарке за слоном или крокодилом: сейчас, за оградой вольера и стеклом террариума, ты царь природы и в безопасности, но, окажись в саванне или в реке рядом с этими чудищами, будешь растоптан или разорван в течение минуты как беспомощный кусочек плоти.

Короче говоря, я чувствовал, что попал в западню.

Когда Голиаф подплыл ближе, я увидел его глаза. В них не было ничего, кроме ненависти. Мой страх подал команду, и я всем телом дернулся назад. Вода плюхнула мне в затылок и воронкой завертелась вокруг плеч и шеи.

— Стой, сука! — отплевываясь, прохрипел режиссер. — Не дергайся!

— Какого черта? — я все же пытался отгрести. — Что вам надо?

Он резко поднырнул к моей груди, рванулся вверх, ударив головой сначала мне в кадык, а потом в подбородок, и с грубой силой вцепился левой рукой мне в плечо.

— Хватит! — заорал я.

Его мокрое лицо исказила гримаса отчаяния и злобы.

— Пока ты сочинял пьесу, я приготовил финал, — он тоже кричал, но мы были теперь как два лилипута, барахтавшихся в ведре у великана и пищавших комариными голосами. — Ты сжигал мне душу, распаляя сюжет. Использовал мою жену как фитиль интриги. Теперь я ставлю точку и гашу твой адский огонь. В воде и в смерти. Навечно!

Прогундосив это, он оперся на мое плечо и выскочил из воды по пояс. Я увидел, что в правой руке он сжимает булыжник размером с хлебный кирпич. Голиаф широко размахнулся каменной буханкой, собираясь размозжить мне голову, но не рассчитал. За секунду до удара мне удалось поджать ноги и изо всей силы пихнуть его коленями в живот. Он завалился на спину, а я всплыл на поверхность. Голиаф барахтался, пытаясь выпрямиться, и, отплевываясь, кричал ругательства. Кирпич тянул его вбок. Я схватил Рудольфа за волосы и стал давить его вниз, под воду. Но он выдернул правую руку наверх и шарахнул меня камнем в плечо. Взвыв от боли, я нырнул под воду, обхватил его за пояс и, отчаянно молотя ногами, поплыл в глубину. Разгадав мой маневр, Голиаф выпустил из руки кирпич и вдруг ухватил меня за уши. Я тащил противника вниз, а он крутил мои уши и буквально вырывал их с мясом из хрящей, соединяющих челюсти. Боль привела меня в дикое состояние убийцы-амфибии, действующего слепо по приказу животного инстинкта. Я отпустил соперника и, когда он, почувствовав свободу, раскрылетился и попытался всплыть, скользнул ему за спину, пропустил руки под мышками и заломил ему руки за голову. Он задергался, но я надавил ему пальцами на зрачки и зажал ноздри. Голиаф окаменел от боли и задергал ногами. Но он перестал понимать, как сопротивляться моему напору. А я уже знал, что делать дальше.

Коричнево-красный туман, мутная глубина, дышащая холодом, и страх теперь были моими сообщниками. Поэтому я ловко заломил Голиафу голову назад, перевернул его на спину и лягушачьими рывками потащил нас обоих на глубину. Он пытался сучить ногами и тормозить мое движение. Но силы его оставляли, воздуха ему не хватало, живот впал, словно прилип к позвоночнику, а изо рта вдруг вырвались огромные пузыри, гирляндами устремившиеся вверх. Коричневый подводный мрак висел над скользким, бугристым дном. Чувствуя неподвижность и одеревенелость только что живого тела, которое я держал в железных тисках, я понял, что вышел победителем из этой схватки. Воздух в легких почти кончился, в ушах уже появился тихий звон и спазмы сдавливали мышцы. Я с силой оттолкнул неподвижного Рудольфа в глубину. Безвольное длинное тело, клюя затылком книзу, очень медленно опустилось на дно и, словно во сне, вдруг тяжело повернуло набок голову. Волосы шевельнулись, колеблемые водой. Мертвые глаза, в ужасе распахнутые, пытались сквозь мутную многометровую толщину все еще разглядеть меня, своего убийцу.

Возможно, я застонал при виде этого кошмара, а потом быстро поплыл вверх, боясь задохнуться. Вода облизывала меня то теплым, то прохладным языком. Вынырнув на поверхность, я, отчаянно молотя руками и ногами, рванул к берегу и успокоился только тогда, когда ткнулся лбом в ступени деревянной лестницы.

Добежав до деревни, я понял, что остался совершенно один. Дом-сундук был заперт и пуст. На крыльце стояла моя сумка, сверху лежал листок бумаги. Я схватил его и, развернув, прочитал скачущие строки:

«Родной мой Саша! Я знала, что ты вернешься один (подчеркнуто). В сумке все твои вещи, в том числе пьеса и договор. В доме пусто, твоих следов там нет. Я проверила. Завтра пойдет дождь, вокруг дома все зальет вода, потом вырастет молодая трава. Значит, здесь никого не было. Иди на станцию, в полночь будет московский поезд. Уезжай, пока не поздно. Меня не ищи. Смерть Рудольфа — хороший финал нашей любви. Прощай! Прости, что я была не с тобой!»

Я закурил, сжег записку и втоптал пепел в землю. Солнце садилось и оставляло Селище один на один с сумерками и памятью о том, что здесь случилось.

Мне удалось купить билет на московский поезд, так что ранним утром следующего дня я был уже в Москве. В городе шел слепой летний дождь, асфальт размашисто отбивал и разбрызгивал мириады капель, а в Селище вокруг дома-сундука начинала расти трава, та самая, молодая, сочная, густая и никем не тронутая — расти по обещанию исчезнувшей навсегда Нинель.

Жена не была удивлена моим появлением. Уезжая с Рудольфом и Нинель, я оставил ей записку, что отправляюсь с друзьями поработать над новым театральным проектом, но, возможно, быстро с ними рассорюсь и скоро вернусь. Мария знала мой кусачий характер, привыкла к моим закидонам и почти всему верила. Или как мудрая женщина не вникала в лишние подробности, справедливо допуская, что у нас может быть скрытая друг от друга часть семейной жизни, необходимая для бережного сохранения остальной, бóльшей и лучшей, части.

Через пять дней я был приглашен для разговора со следователем в К-й РУВД. Меня ознакомили с делом, открытым в связи с исчезновением главного режиссера Рудольфа Горского и актрисы Нинель Алипьевой. Следователя интересовало, что мне известно об этих людях? Я рассказал, что четыре года назад работал с ними в театре над спектаклем «Плутовка», потом неоднократно виделся уже как с коллегами-театралами, но большой дружбы между нами все-таки не было. Они были заняты театром, а я работал, как правило, в одиночестве, за письменным столом, поэтому пересекались мы невероятно редко. Ничего из их семейной жизни я не знал. Режиссер и актриса жили закрыто от любопытных глаз и лично меня

в свои тайны не посвящали. Да и зачем посвящать? Театр — дело сокровенное, работающее на уровне подсознания. То есть пьеса и спектакль — всегда мираж, наваждение, и делиться своими миражами и наваждениями нормальный человек никогда и ни с кем не будет.

— Как вы думаете, не могла ли иметь место зависть или ревность? Кто-то перешел дорогу Горскому или, допустим, пытался соблазнить его жену?

— Думаю, что нет. Насколько я знаю, Рудольф Аркадьевич и его супруга любили друг друга. Зависть или ревность не могли задеть их ду́ши.

— Вы в этом уверены?

— Да.

— Спасибо. Распишитесь вот здесь и пока — до свидания!

Выйдя на улицу, я почувствовал себя мерзавцем, живущим почему-то за чужой счет. Кто-то переживает, страдает, умирает, а я стою рядом с карандашиком и записываю все, что с ним происходит. Как ученый, рассматривающий под микроскопом суету чужих кровяных телец, белков и лимфы.

В тот последний вечер я вернулся домой больной и разбитый. Мне было холодно, я выпил водки, но не согрелся. Я все время вспоминал следователя, глядевшего на меня ласковым, понимающим взглядом и приговаривающего:

— Посмотрим, посмотрим… Тут вопрос совести, а не истины.

Честное слово, все выглядело очень просто. Было начало шестого вечера. Почувствовав боль в области сердца, я пошел в ванную за аптечкой. Но не успел. В глаза мне ударил яркий свет, я стал падать набок и попытался ухватиться рукой за дубовую тумбочку.

Блеснуло зеркало, мелькнуло отражение Нинель, голос растаял в воздухе:

— Ты в меня только не влюбись.

Как будто предчувствовала опасный путь от любви к смерти.

Ну, остальное вы знаете…